

НЕМЕЦКОЕ РУСОФИЛЬСТВО, ИЛИ ПРЕДЧУВСТВИЕ НАЦИЗМА

(Еврейская тема в повести И.С. Тургенева «Несчастная»)

В своих мемуарах «За полвека» писатель Пётр Боборыкин, общавшийся с Тургеневым на протяжении восемнадцати лет, мимоходом замечает, что у скитальца Тургенева «в Бадене и произошёл... выбор оседлости... Не случись войны Германии с Францией, Тургенев не переехал бы на конец своей жизни в Париж. Его *перевезла* Виардо, возмущившаяся тем, как немцы обошлись с её вторым отечеством – Францией»¹. А не переехал бы, тем более не вернулся бы в Россию, потому что «Тургенева *всегда* держал в своих тисках культурный Запад, особенно Германия»².

В специально посвящённых российскому гению воспоминаниях «Тургенев дома и за границей» Боборыкин подчёркивал его «несомненную своеобразность как русского писателя и человека»: «Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нём решительно ни в чём не замечал...»³. При этом он фиксирует тургеневскую «платоническую любовь к немецкой умственной культуре... Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки, и из всех мне известных писателей он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью... В Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всё, чем они выше нас. Каких-нибудь выходок в русском вкусе насчёт “немчуры”, вероятно, никто от него не слышал»⁴.

Но именно потому, что Германия была для писателя «второй родиной», он не стеснялся высказывать ей помимо любви и признательности жестокие истины, рисовал шаржированные портреты немцев, не в меньшей степени, чем русских. Тургенев, как и вся русская классическая литература, следовал формуле, которую с твёрдостью и непреклонностью выразил в одном из своих ранних рассказов («Севастополь в мае») Лев Толстой: «Герой... которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен – правда».

Конечно же, было немало и отрицательных персонажей-немцев у русских писателей, к которым относились то иронически, как к чужакам, не понимающим российской жизни, то резко негативно, но это скорее в публицистике славянофильского толка. Однако каждый писатель имел свои зоны, рисуя те или иные раздражавшие или смешившие его немецкие черты. Что же неприемлемо было в немцах для Тургенева? В чём видел писатель «немецкие» недостатки, а то и мерзости? Как правило, все они являются оборотной стороной достоинств.

1. Любовь к уюту и организованности жизни переходит в раздражающее писателя филистерство, мещанство, желание любой ценой обустроить свою жизнь. В «Накануне» это «Зоя Никитишна

¹ Боборыкин П.Д. Воспоминания в 2-х томах. Т. 2. [М.], 1965. С. 8.

² Там же. С. 15.

³ Там же. С. 393.

⁴ Там же. С. 394.

Мюллер... миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая». Ирония автора очевидна, и весь этот образ строится как параллель и антитеза Елене Стаховой, вырвавшейся из косности застойной русской жизни, несущей в себе высокое духовное горение и жертвенность. В «Дворянском гнезде» мать Варвары Павловны, неверной жены Лаврецкого, – Каллиопа Карловна, которая «сама считала себя за чувствительную женщину... и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты», а когда её дочь оторвала богатого жениха, «подумала: "Meine Tochter macht eine schöne Partie", – и купила себе новый ток». Таков же лавочник Клубер из «Вешних вод». Впрочем, ненависть к филистерству свойственна была и великой немецкой литературе: не говоря уж о Гейне и Гофмане, вспомним саркастический образ филистера от науки Вагнера в «Фаусте» Гёте.

2. Как противопоставление высокому духовному горению немецких гениев, высочайшим взлётам мысли и поэзии немецкая культура породила не только благополучных и пошлых мещан, но и самодовольно-грубую, чванливую и заносчивую солдафонскую массу, в пьяном кураже способную пока ещё не на преступление, но на оскорбление и попытки насилия. Таковы сцены с пьяными немцами в «Накануне» и в «Вешних водах». В «Накануне» русские герои после разговоров о Шеллинге наталкиваются на толпу подгулявших офицеров, требующих один «поцалуйшик» от Зои или Елены. Тургенев отчётливо прописывает этот культурный перепад внутри одной нации: от разговоров о немецкой философии, о том, что немцы учат жертвенной любви, до хамского приставания к женщинам, что со стороны немцев выглядит особенно омерзительно. Но если в «Накануне» Инсарову достаточно бросить пьяного немца в воду, чтоб остудить его пыл и привести в норму житейского поведения, то в «Вешних водах» герою приходится уже стреляться с немецким офицером, чтобы напомнить ему о поведении, достойном цивилизованного человека. И во втором случае этим учителем цивилизации выступает русский. Для Тургенева безусловно ясна разница, которая везде разделяет людей цивилизации и остающихся на её обочине, только внешне подражающих её нормам, ибо, считал Тургенев, вхождение в цивилизацию предполагает этап образовательно-литературный⁵, не только для страны, но и для отдельного человека, поскольку завоевания цивилизации даются личным, индивидуальным усилием, а не принадлежностью к определённой компании, кружку, тем более – определённой нации.

3. Пожалуй, более всего в русской литературе досталось «русским немцам», то есть представителям высших ветвей российской бюрократической власти. Есть такие персонажи и у Тургенева. Наиболее рельефно выписанный – Родион Карлович фон Фонк из пьесы «Холостяк» (1849). Он сух и правилен, но желает помочь своему молодому подчинённому Вилицкому успокоить совесть, когда тот убегает от невесты, а затем показно казнится, как всякий малодушный человек. И начальник-немец утешает его: «...искреннее участие, которое я в вас принимаю... Вы совсем не так виноваты, как вы думаете... Вы возбудили в ней надежды – несбыточные; вы её обманули, положим, но вы сами обманулись... Ведь вы, повторяю, не притворялись влюблённым, не обманывали её с намерением?» Вилицкий с жаром кричит, что, конечно же, он никогда не имел намерения обмануть бедную девушку. Так что немец-бюрократ в конечном счёте не ломает русскую жизнь, а, напротив, делает то, что угодно его подопечному, – причём находя нравственные оправдания его поступку. Хотя опекун девушки и кричит про бывшего жениха: «Вишь, у него немец приятель, так вот он и зазнался!» – но и он винит не немца, а раболепную натуру своего русского друга. Несмотря на отчасти водевильный характер пьесы, мысль Тургенева глубока и серьёзна: нельзя в искривлениях своей жизни, в своих плохих и скверных поступках винить другую нацию. В холуйстве перед «русскими немцами» виноваты сами русские люди, к тому же каждый выбирает себе «своего немца». Тургеневу были нужны Гегель и Гёте, российскому самодержавию – немец-бюрократ и т.п.

⁵ В статье о «Фаусте» Тургенев пишет: «У каждого народа есть своя чисто литературная эпоха, которая мало-помалу приготавливает другие, более обширные развития человеческого духа...» (Соч., т. 1. С. 200).

Однако самое глубокое и серьёзное художественное открытие-предупреждение, стоящее пророчеств Достоевского по поводу грядущей «бесовщины», – это у Тургенева образ Ивана Демьяновича Ратча. В не понятой и не оценённой соотечественниками при его жизни повести «Несчастливая»⁶ (1869) писатель изобразил немца – русского националиста, ставшего более ярким националистом, чем любые славянофилы русского происхождения, и показал, как этот национализм замешивается на материально выгодном антисемитизме. Можно сказать, здесь угадан прообраз российско-немецкого нациста за полстолетия до того, как этот тип человека стал массовым явлением и угрозой историческому бытию человечества. Впрочем, и это стоит тут отметить, еврейская проблематика (причём весьма позитивно) уже звучала в немецкой классической литературе. Я имею в виду пьесу Э. Лессинга «Натан Мудрый». Но у Тургенева, разумеется, свой поворот темы, своё открытие.

Чтобы прояснить ситуацию этого открытия, стоит немного отступить в прошлое, к русофильскому перевороту Николая Первого. Кончился период русского европеизма, начатый Петром, поднялась контрреакция. Не буду сейчас вдаваться в причины антиевропеизма, скорее всего на этом пути казалось легче укрепить власть. А далее последовало и изменение общественного сознания. Но любопытно, что ослепление собственной значительностью поддерживалось прежде всего выходцами из Германии, которые были, быть может, наиболее активные русификаторы (начиная с Николая I, желавшего стать вполне русским, и кончая разнообразными чиновниками и славянофилами-учеными немецкого происхождения – Даль, Гильфердинг, О. Миллер и т. д.).

Позиция «любви к отечеству» всегда выглядит для массового сознания привлекательнее критики. Не случайно на западников, по свидетельству критика-демократа, «смотрели чуть ли не как на злодеев, губителей России; в них видели ненавистников своего родного – слышите! ненавистники – они, которые любили свою страну до фанатизма, до самозабвения»⁷. Но западники любили в России её скрытые силы и способность к цивилизованному развитию. И, быть может, не случайно именно западник Тургенев так язвительно и зло-проницательно изобразил грозную опасность, исходившую от немецкого русофильства.

Появление монстра Ивана Демьяновича Ратча (повесть «Несчастливая») обставлено поначалу юмористически, почти шутовски и вроде бы без особой неприязни. «Когда г. Ратч смеялся, белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону». И восклицания его слишком громогласно и навязчиво апеллируют к русскому духу, и сам себя этот персонаж аттестует следующим образом: «...старик Ратч – простяк, русак, хоть и не по происхождению, а по духу, ха-ха! При крещении наречён Иоганн Дитрих, а кличка моя – Иван Демьянов! Что на уме, то и на языке; сердце, как говорится, на ладошке, церемониев этих разных не знаю и знать не хочу! Ну их!»

Поначалу это классический комедийный немец, не раз выводившийся в русской литературе, злоупотребляющий русскими пословицами и поговорками к месту и не к месту (от генерала Андрея Карловича Р. из «Капитанской дочки» до негоцианта Фридриха Фридриховича Шульца из «Островитян» Лескова; всё это люди благородные и высокопорядочные, порой лучше окружающих их русских персонажей). И жена его поначалу выглядит вышедшей из водевильного, комедийного ряда, она тоже «здешняя немка, дочь колбасника... мясника...». Зовут её Элеонора Карповна, и напоминает она «взору добрый кусок говядины, только что выложенный мясником на опрятный мраморный стол». Но г. Ратч настойчиво подчеркивает русскость своей супруги, так преувеличивая эту добродетель, что у читателя появляется чувство неясной тревоги. Г. Ратч восклицает:

⁶ «Его “Несчастливая” – гадость чертовская», – писал в том же году Б.М. Маркевичу А.К. Толстой (А. К. Толстой о литературе и искусстве. М., 1986. С. 156). «Ничтожной» ее назвал и Достоевский. Надо сказать, что в отличие от соотечественников, классики французской литературы (Флобер, Мопассан, Мериме) называли эту повесть шедевром. Флобер о повести «Несчастливая» написал Ж. Санд: «Я нахожу эту вещь просто возвышенной. “Скиф” – настоящий колосс» (Флобер Г. Собр. соч. Т.8, М.; Л., 1938. С. 407). Кстати, повесть в том же году перевели и немцы.

⁷ Шелгунов Н.В. Литературная критика. Л., 1974. С. 67.

«— Славянка она у меня, чёрт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?»

Элеонора Карповна рассердилась.

— Я надворная советница, вот кто я! И, стало быть, я русская дама, и всё, что вы теперь будете говорить...

— То есть как она Россию любит, просто беда! — перебил Иван Демьяныч. — Вроде землетрясения, ха-ха!»

Любовь, которая грозит землетрясением, то есть глобальной катастрофой, настораживает. Заметим также, что в важные минуты супруги переговариваются друг с другом по-немецки. Но всё бы прозвучало лишь в духе более или менее критического осуждения комического немецкого русопятства, если бы на сцену не выступила несколько неожиданная для Тургенева героиня: глубоко страдающая девушка, падчерица Ратча с библейским именем Сусанна. «Все члены семейства г. Ратча смотрели самодовольными и добродушными здоровяками; её красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности. *Те*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всем её несомненно аристократическом существе. В самой её наружности не замечалось склада, свойственного германской породе; она скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые чёрные волосы без всякого блеска, впалые, тоже чёрные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий выпуклый лоб, орлиный нос, зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации...»

Кто же она? Это стоит пояснения.

«Разве она... еврейка?» — спрашивает рассказчик. Собеседник отвечает, слегка смущаясь: «Её мать была, кажется, еврейского происхождения».

Введение в русскую прозу еврейки как героини было весьма необычно. Как правило, до Тургенева евреи — маргинальные персонажи (у Гоголя, Пушкина, Лермонтова, самого Тургенева в раннем рассказе «Жид», причём данные скорее безоценочно, если не считать стихийного юдофобства гоголевских козаков). В этой повести еврейка — не только героиня повествования, но *положительная героиня, трагическая героиня*. Сила многих её высказываний напоминает Ревекку из «Айвенго» Вальтера Скотта, этот роман она читает вслух своему любимому (литературная параллель, сознательно акцентированная Тургеневым). Да и Ратч понимает, что перед ним представительница высокой культуры, проявившей себя не только в древности (Библия!), но и в современной жизни Европы.

* * *

Здесь позволю себе небольшое отступление. Тургенев нашёл ключевые темы, фигуры и коллизии русской жизни, которые во многом определили направление и проблематику следовавшей за ним русской литературы. Его тексты сделали внятными своеобразие этой проблематики. Скажем, от «Дневника лишнего человека» Тургенева прямой путь к «Запискам из подполья» Достоевского и «Крейцеровой сонате» Толстого. Здесь впервые разыграна тема «лирического антигероя», получившая своё развитие в западной литературе XX века (Сартр, Камю, Гессе, Онетти и др.). Стали событием «Записки охотника», и дело было не только в изобличении крепостнического рабства. Писатель увидел в крестьянах людей, которых можно было мерить европейской меркой: в рассказе «Хорь и Калиныч» он, шокировав тем публику, одного из мужиков сравнил с Гёте, а другого — с Шиллером. Об этом точное наблюдение Ю. Манна: «В первоначальном тексте рассказа (напечатанном в «Современнике») не случайно упоминалось о Гёте и Шиллере («словом, Хорь походил на Гёте, Калиныч более на Шиллера...»). Легко и свободно приложил Тургенев к явлениям крестьянского мира те масштабы, которые по традиции прилагались к более «высоким» сферам жизни... Русская народная жизнь в своем нравственном содержании поднималась Тургеневым

до уровня жизни общечеловеческой»⁸. От Тургенева идёт сюжет разрушающихся «дворянских гнезд», завершённый Чеховым и Буниным. Он создал – первым! – символический образ русского народа – Герасима (из рассказа «Муму»): могучего и глухонемого. Потом уже, отталкиваясь от этого образа и с учётом тургеневского опыта, был написан Толстым Платон Каратаев, а Достоевским – мужик Марей. Наконец, Тургенев ввёл в русскую литературу тему, которая стала едва ли не основной, во всяком случае, самой значимой в нашей отечественной судьбе – тему нигилизма (в «Отцах и детях»), показав не только её политическую и культурную злободневность, но и её философскую и духовную глубину: Базаров у него не шут, а мыслитель, трагическая фигура. И пожалуй, именно Тургеневу принадлежит честь вполне сознательного использования определённого эстетического принципа для анализа явлений российской действительности – в контексте символов мировой культуры, в сравнении с великими образами европейской литературы, как в прямом соотношении («Гамлет Щигровского уезда», «Фауст», «Степной король Лир»), так и в косвенных параллелях, внутренней рифмовке, становящихся средством характеристики героев (Рудин рифмуется с Вечным Жидом, Ася – с Гретхен и Миньонной, Инсаров – с Дон Кихотом, Базаров – с Фаустом и Мефистофелем одновременно: как человек познания и дух отрицания в одном лице и т.п.). Этот принцип стал характерным для русской классики (от Л. Толстого и Ф. Достоевского до А. Платонова и М. Булгакова).

Поэтому любопытен культурный контекст, в который помещает Тургенев свою Сусанну. *Первое сравнение* явное – это еврейка Ревекка из вальтерскоттовского «Айвенго», девушка гордая, самоотверженная, истинная героиня этого романа из рыцарской эпохи. Кстати, Айвенго связывает свою жизнь не с Ревеккой, а с пустой и холодной леди Ровеной. Заметим, что и Фустов, любимый Сусанной, по сути дела отказывается от нее. *Второе сравнение* дорогого стоит! Тургенев сравнивает еврейку Сусанну с пушкинской Татьяной, по общему мнению, идеалом русской женщины, российской «вечной женственностью»: «Она бросила на меня быстрый неровный взгляд и, опустив свои чёрные ресницы, села близ окна, “как Татьяна” (пушкинский “Онегин” был тогда у каждого из нас в свежей памяти)». Разумеется, для почвенно-ориентированных российских литераторов постановка рядом с Татьяной Лариной героини-еврейки была шокирующей. И, наконец, *третье сравнение* – смыслообразующее: это, конечно, библейская тема «Сусанны и старцев». Два старца одержимы похотью к благородной и богобоязненной Сусанне, которая ещё в доме родителей была научена «закону Моисееву» (Дан. 13, 3). Старцы подглядывают за ней, когда она стала мыться в саду, отослав служанок, и тут же начинают склонять её к блуду: «Вот, двери сада запелты и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих» (Дан. 13, 20-21). Они и вправду оклеветали её, и спасает несчастную женщину от смерти лишь пророк Даниил. Сюжет этот весьма известен в культуре; скажем, его использовал Рембрандт в своей знаменитой картине. В истории Сусанны тоже два старца – отец, богатый помещик Колтовский, не узаконивший свою дочь, и его брат, пытающийся соблазнить племянницу. Помогает ему Ратч, он же распускает и клевету о Сусанне. Только вот пророка Даниила Тургенев среди своих персонажей не увидел.

* * *

Во время визита рассказчика в дом г. Ратча заходит речь о музыке: «Что такое? “Роберт-Дьявол” Мейербера! – возопил подошедший к нам Иван Демьяныч, – пари держу, что вещь отличная! Он жид, а все жида, так же как и чехи, урождённые музыканты! особенно жида. Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!» Употребляя слово «жида» вместо «еврей», слово в русском языке бранное, он сознательно оскорбляет свою падчерицу – причём оскорбление

⁸ Манн Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 107

идёт не на уровне невежественного непонимания, кто такие евреи, а на расово-зоологическом уровне. Тургенев описывает до сих пор работающую модель, много проявляющую в антисемитизме, которым столь отличалась Германия и которому не чужда была и Россия. Увидеть его истоки помогает Тургенев.

Название повести «Несчастливая», звучащее немного странно, становится понятным, когда мы осознали, что девушка чувствует себя неотрывной частицей «вечно гонимого племени» («О, бедное, бедное моё племя, племя вечных странников, проклятие лежит на тебе!» — горестно восклицает девушка). Но именно гонимых в русском народе зовут «несчастливыми». Кто же виноват в несчастной судьбе Сусанны? Её мать была дочерью еврейского живописца, выписанного из зарубежья богатым русским баринем Иваном Матвеевичем Колотовским. Проживший всю жизнь холостяком, он соблазнил дочь живописца, но родившегося ребенка, Сусанну, не удочерил, хотя приблизил к себе «как лектрису» (она ему читала) и дал европейское образование. Чтобы, однако, «устроить судьбу» соблазненной, выдал мать Сусанны замуж за г. Ратча, который был чем-то вроде управляющего. Началась несчастная жизнь, появился на свет сын от г. Ратча, и мать вскоре скончалась. Сусанну отчим ненавидел. Думая через эту женитьбу «войти в силу», иметь возможность воровать без наказания, он как-то просил Сусанну заступиться за него перед баринем, её настоящим отцом, но девушка из гордости отказалась. С тех пор — ненависть, поначалу скрываема. Потом отец Сусанны умер. Имя наследовал его брат, ещё больший сластолюбец, предтеча старика Карамазова. Игравший в национализм, он «сам называл себя русаком, смеялся над немецкой одеждой, которую, однако, носил». Подлаживаясь к новому хозяину, и г. Ратч «с того же времени... стал русским патриотом». Новый барин воспылил постыдной страстью к своей племяннице, Ратч всячески содействовал барскому капризу. Но со стороны девушки последовал ещё более резкий отказ. Тем временем г. Ратч женился на московской немке. Дядя Сусанны перед смертью раскаялся и наградил племянницу увеличенной пенсией в своём завещании, добавив, что она прекращается в случае её замужества, а в случае её «смерти она должна перейти к г. Ратчу». Вот тут-то и завязывается социально-психологический, почти детективный узел, развязку которого довелось увидеть рассказчику.

Г. Ратч пользовался пенсией Сусанны, но распускал всякие чернящие девушку слухи, чтоб помешать любому её возможному браку; он ненавидел её, но не решался разорвать отношения и просто позволить ей уйти жить самостоятельно — невыгодно! Когда дело доходило до решительных объяснений, пасовал, имитируя добродушие и шутливость, хотя, видимо, не случайно сын от первого брака называет своего отца (г. Ратча) «жидомор». И вот рассказчик наблюдает, как на решительный отпор девушки в споре этот «жидомор» отступает, похохатывая по своему обыкновению:

«— Вот, подите вы, ха-ха-ха! Кажется, не первый десяток живём мы с этою барышней, а никогда она не может понять, когда я шутку шучу и когда говорю в суриозе! Да и вы, почтеннейший, кажется, недоумеваете... Ха-ха-ха! Значит, вы ещё старика Ратча не знаете!

«— Нет... Я теперь тебя знаю», — думал я не без некоторого страха и омерзения».

Сусанна *мешает* «нормальной жизни» г. Ратча самым своим присутствием, строгим взглядом, высокой духовностью. Затаённое желание уничтожить падчерицу и страх перед возможным наказанием, боязнь потерять её пенсию раньше времени — вот что угадывает рассказчик в словах и мимике г. Ратча, к которому отныне испытывает «страх и омерзение». И случайно ли, что как только возникает ситуация, которая определённно чревата браком Сусанны, она умирает?... Глядя на нее, лежащую в гробу, рассказчик приходит к твёрдому выводу: «Эта девушка умерла насильственной смертью... это несомненно». А перед этим визитом он убеждал Фустова, обманутого жениха оклеветанной девушки, что она *убита*: «Ты должен узнать, как это случилось; тут, может быть, преступление скрывается. От этих людей всего ожидать следует... Это всё на чистую воду вывести следует. Вспомни, что стоит в её тетрадке: пенсия прекращается в случае замужества, а в случае смерти *переходит* к Ратчу». Об этом же на поминках кричит и подгулявший гость: «Уморил девку, немчура треклятая... полицию подкупил...»

Хотя не исключено и самоубийство, ибо девушка потрясена тем, что любящий её человек поверил клевете. Тургенев ироничен и прозорлив. Фустов вскорости забывает свою бывшую

любовь, ибо не в состоянии жить в непрестанном духовном напряжении («природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!»). Но и г. Ратчу смерть Сусанны приносит не много выгоды, дела его «приняли оборот неблагоприятный», хотя двоих новых своих сыновей «он, “коренной русак”, окрестил Брючеславом и Вячеславом, но дом его сгорел, он принуждён был подать в отставку» и т. п. Как и в прошлой, так и в будущей истории Германии и России от уничтожения или изгнания евреев мало выгадывали их гонители, ибо собственное разрушение нелюди носили в самих себе: внутреннюю неполноценность, глупость и нерасторопность не преодолеть внешними средствами. Но преступление г. Ратча подтверждается рассказчиком косвенно, он сообщает о продолжающемся распространении клеветы об умершей девушке, а клевета — это самооправдание подлецов и преступников.

* * *

Еврейская проблема для русской литературы, именно как проблема, была в конце 1860-х новостью. Конечно, были подписанные русскими писателями и критиками в начале десятилетия письма против антисемитских выходов газеты «Голос», но это — коллективная публицистика. Как художественную ощутил эту проблему именно Тургенев. Ранее было только не продуманное ни публикой, ни критикой двусмысленное изображение евреев в гоголевском «Тарасе Бульбе», где запорожцы топят несчастных жидов, насмехаясь над ними. Но только, что самое интересное, именно жид Янкель оказывается настолько храбр, что помогает Тарасу проникнуть на казнь сына. Это любопытно, но любопытно и другое: что сами запорожцы изображены Гоголем тоже вполне двусмысленно: с одной стороны, герои, с другой — жуткие варвары и изверги.

Гоголь рисует своего рода пугачёвщину средневековья: «Тарас гулял по всей Польше с своим полком, *выжег восемнадцать местечек* (т.е. евреев. — В. К.), близ сорока костёлов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки. <...> “Ничего не жалейте!” — повторял всяко Тарас». И вот отношение козаков к женщинам: «Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: *зажигал их Тарас вместе с алтарями*. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, *сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости к долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя*» (курсив мой. — В.К.). Степень описанного зверства соизмерима разве что со зверствами, описанными Достоевским в «Бунте» Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»), где генерал гончими травит до смерти мальчика на глазах его матери или турки стреляют в голову младенцу, сидящему на руках у матери. Впоследствии такие же турецкие зверства описал Вл. Соловьёв в «Трёх разговорах», и рассказывавший об этих зверствах генерал самым богоугодным своим делом называл уничтожение этих кровожадных зверей.

Впрочем, Достоевский и Вл. Соловьёв — это уже 1880-е годы, когда еврейская проблематика уже в полную силу зазвучала в русской литературе. И именно в эти годы, вопрекор мессианскому юдофобству Достоевского, актуализировалась повесть Тургенева. В 1884 г. будущий великий историк еврейства С. М. Дубнов прочитал тургеневский текст, и вот как он вспоминает своё впечатление: «Однажды, дочитав “Несчастную” Тургенева, я уткнулся лицом в подушку и заплакал. В комнате никого не было, но я стыдился своих слёз, низводящих меня на уровень толпы и сентиментальных барышень. И все же это было для меня уроком: я понял, что нельзя так резко разграничивать области Разума и Эмоции, что истинно художественное произведение, даже без определённой идейной подкладки, может служить таким же источником глубоких размышлений, как хороший философский трактат»⁹.

⁹ Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб., 1998. С. 112.

Тургенев, ярко и сильно изобразивший благотворность взаимовлияния российской и немецкой культур, с не меньшей зоркостью провидел возможный трагический результат контакта негативных сторон России и Германии. Это ответ Герцену и славянофилам, куда их может завести немецкое русофильство. Возникшая в результате смесь может оказаться смертельно опасной. Так оно и случилось. Да и жертву будущих нацистов он указал точно – евреи. Подлаживаясь к принявшей их стране, «русские немцы» разбудили русский национализм, всячески поддерживали его, пока не доработались до черносотенцев и русских фашистов, которые издавали в Мюнхене в начале 20-х антисемитские газеты, в свою очередь помогая Гитлеру строить его юдофобскую идеологию. Круг негативного взаимовлияния замкнулся. Но не будем здесь вдаваться в вопрос, что сильнее в мире – Зло или Добро. Исторический путь человечества идёт через такие провалы и бездны, которые разум осознать не в состоянии. Ясно одно, что любое действие Добра имеет, несёт в самом себе отрицающую его силу. Скорее можно испугаться человека, не отбрасывающего тени. Тень свойственна всему живому и жизненному.

А Тургенев верил в силу самого животворящего чувства – Любви, которая способна перешагнуть преграду смерти («Клара Милич»). В этой последней повести, герой которой Яков Аратов представлялся И. Анненскому «чем-то вроде Фауста, только забывшего помолодеть»¹⁰, снова появляются темы и мотивы 40-х годов. И там снова спутником и компаньоном героя становится добродушный русский немец Купфер, который сводит героя с героиней, тем самым предлагая герою высшее духовное испытание. На что он способен во имя любви? Способен ли он не испугаться смерти? И герой выдерживает – едва ли не впервые в творчестве писателя – это испытание. Эта грустная и самая светлая вещь Тургенева связана с той философской, *фаустовской верой* в силу добра, жизни и вечной женственности, которую он вывез «из Германии туманной». Как сказал другой выученик немецких философов – Борис Пастернак:

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придёт пора –
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

(«Нобелевская премия»)

¹⁰ Анненский *Иннокентий*. Книги отражений. М., 1979. С. 39.